

ИННА ШОЛПО

Предметы старого быта

РАССКАЗЫ



Инна Шолпо

Предметы старого быта. Рассказы

«Издательские решения»

Шолпо И.

Предметы старого быта. Рассказы / И. Шолпо — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-851274-2

Мир вокруг нас меняется с какой-то невиданной доселе быстротой. И вот уже знакомые с детства вещи — это не копеечные стаканы, а ценный «винтаж». А чувства, мысли? Что происходит с ними? Какими мы видели себя в молодости и как смотрим теперь на тех молодых людей с высоты своего опыта? Хотим ли мы встречи с ними? Рассказы, собранные в этой книжке, объединяет и время действия (1960-е — 90-е годы), и размышление о том, как найти себя в меняющемся времени, как вписаться в него, оставаясь собой.

ISBN 978-5-44-851274-2

© Шолпо И.

© Издательские решения

Содержание

Воображаемая линия	6
Февраль был похож на март	9
Вид из окна	13
А моря нет	17
Портрет художника в зрелости	21
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Предметы старого быта Рассказы

Инна Шолпо

«Куплю (дорого) фарфоровые фигурки и другие предметы старого быта» (объявление в Интернете).

Иллюстратор Анастасия Ключина

Корректор Юлия Горохова

© Инна Шолпо, 2017

© Анастасия Ключина, иллюстрации, 2017

ISBN 978-5-4485-1274-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Воображаемая линия вместо предисловия

На мамино восьмидесятипятилетие к нам пришло трое гостей – самые близкие из тех ее друзей, что еще сохранили способность передвигаться.

В их присутствии я всегда ощущаю себя немного неловко, вероятно, потому что они помнят меня маленькой девочкой с детским прозвищем, которое я со временем возненавидела, и так и не усвоили, что я давно выросла. Меня раздражает, что они относятся ко мне, как к несмышленому существу, хотя может быть, мне это только кажется. Но если кто-то из них по старой памяти называет меня детским прозвищем, я едва сдерживаюсь, чтобы не встать и не заорать, что мне уже пятьдесят восемь лет и я хожу на горшок самостоятельно. В конце концов я давно хозяйка в доме, и даже мама это наконец признала: правда, только после того, как ей стало трудно выходить не только из квартиры, но и из своей комнаты.

Возможно, я все так болезненно воспринимаю потому, что в самой глубине души и сама не верю в то, что мне пятьдесят восемь, а не восемнадцать. Нет, не те глупые, дурацкие восемнадцать, которые были сорок лет назад, а какие-то другие... какими они могли бы быть, если бы не... Если бы не что? Не знаю.

Гости сидели вокруг стола и вспоминали студенческую молодость, а я сосредоточилась на подаче блюд и наполнении бокалов. И тогда (не помню уже, в связи с чем) Семен Ильич и рассказал об этой пачке писем. Он вспомнил своего однокурсника, который после выпуска уехал работать в Москву. Студентами они дружили, а оказавшись в разных городах, долгие годы переписывались. Спустя какое-то время этот друг вернулся в Ленинград, но тут общение почему-то прервалось. Два года назад он умер, и его вдова принесла Семену Ильичу аккуратно связанную и спрятанную в пакет пачку писем, которых в молодости получил от него ее муж. Оказывается, он хранил их всю жизнь.

И вот уже два года эта пачка писем лежит у Семена Ильича, и он не знает, как с ней поступить. Он не распечатывал пакета.

– Почему? – спросила мама.

– Я боюсь, – ответил Семен Ильич.

Сначала мы не поняли. Думали, может быть, это были какие-то особенные письма. Но нет, ничего такого. Никакой политики, ничего интимного. Просто письма двух друзей – о жизни, о книгах и фильмах, о работе. Чего же здесь бояться? Семен Ильич не смог ничего внятно объяснить, только повторил еще несколько раз это «я боюсь», но я почему-то поняла.

Он помолчал немного, потом продолжил:

– Я где-то читал, что у человека каждые семь лет начинается новая жизнь. Что за свою жизнь мы на самом деле проживаем их много... Я вот, наверное, уже двенадцатую живу. И это действительно другая жизнь. И попадать в те, старые... иногда это бывает страшно.

Я присела к столу, отложив в сторону прихватки. Что-то в его словах меня поразило: наверное, созвучность моим собственным ощущениям.

– Отдай эти письма в архив, – посоветовала Лидия Ивановна. – Это на самом деле очень ценно для историков. Не документы, а дневники и письма простых людей. О том, сколько на базаре стоил пучок петрушки, о том, как была устроена жизнь. Маленькие приметы быта. Это полнее рисует эпоху, чем какие-то глобальные вещи.

Приметы, предметы... Я никогда не испытываю тоски по прошлому, по этому самому «старому быту», если его можно так назвать. И даже по своей молодости как таковой. Что мол трава была зеленее, небо голубее... Да чушь это, ничего подобного! Чем дольше живешь, тем

больше хочется жить, и не просто жить, а забираться на вулканы, путешествовать, купаться в море, танцевать; тем больше видишь эту самую зелень травы и голубизну неба. Впрочем, наверное, это у каждого по-своему.

Насчет того, что новая жизнь начинается каждые семь лет, – это, конечно, чрезмерное обобщение. Но то, что наш жизненный путь – это не просто некое поступательное развитие, а болезненная линька, а порой и смена индивидуальности – конечно, факт.

И вот что интересно: тогда получается, что, скажем, полюбили друг друга одни люди, а лет через десять вместе живут уже другие. Почему же они удивляются тому, что расстаются или, наоборот, что их отношения становятся лучше? И конфликты родителей и детей, и распадение дружеских связей – все от этого. Так что превозносить и абсолютизировать любовь или дружбу на всю жизнь и страдать от того, что в твоей жизни этого нет – смешно и глупо. Бывает, все бывает, но это вовсе не норма, а счастливое стечение обстоятельств. И нужны ли нам встречи с прошлым – это тоже вопрос, на который нет простого ответа.

Вот я, например, с раннего детства хотела стать писателем. В семь лет ни с того ни с сего сочинила стихотворение и тут же заявила, что буду поэтессой. Впрочем, это желание периодически перемежалось столь же сильными намерениями стать биологом, актрисой, моряком и дояркой.

Позже, классе в пятом-шестом я стала сочинять какие-то исторические пьесы и романы. А потом, уже студенткой, еще и рассказы. Но отношение к этому было примерно таким же, как к моему первому сборнику стихов о несчастной любви к коварно покинувшему меня однокласснику Коле, который я «издала» в одном экземпляре в третьем классе. И со временем творчество, которое все кругом называли игрой, уступило место серьезным занятиям.

Потом, несколько жизней спустя, оно вернулось, только уже без стихов. Стихи рассеялись где-то в воздухе между третьей и четвертой жизнями.

И вот не так давно, делая в квартире генеральную уборку, я их нашла – стихи и рассказы, написанные одни сорок, другие тридцать лет назад. В отличие от Семена Ильича я не побоялась открыть эти машинописные страницы, украшенные фотографиями и наивными картинками и связанные узкой шелковистой ленточкой в «папке для дипломных работ».

Автор показался мне почти незнакомым. Ну, если только чуть-чуть, смутно... Я читала эти страницы как филолог, обнаруживая подтексты и скрытые смыслы, видела их литературную слабость и эмоциональную силу. И мне почему-то стало очень грустно. Как будто я их не нашла, а потеряла.

Стоило ли открывать эти вещи, написанные какой-то юной, глупой девочкой, жившей среди странных предметов старого быта и смутно тосковавшей по чему-то совсем другому? Открывать и убеждаться, что эта девочка писала не такие уж плохие рассказы и что, возможно, не стоило бросать эти игры и тратить двадцать лет на серьезные дела, которые получались гораздо хуже? Наверное, все-таки стоило. Хотя бы для того чтобы, аккуратно вмешавшись в неумелый текст, найти и проявить в нем то, что сама девочка тогда не заметила, просто не могла заметить в силу своего юного возраста. Но оно сказалось. Да, да, она сама не понимала тогда, что написала...

И теперь, когда старые страницы легли рядом с новыми, мне кажется, что я смотрю на те давние свои жизни в бинокль, поворачивая его то одной, то другой стороной. Что-то кажется преувеличенным и близким, что-то – отдаленным и маленьким, еле различимым. Это уж как получится: такая игра памяти. И горизонт – эта воображаемая линия между небом и землей – то теряет свою четкость в тумане, то проясняется.

2017

В час, когда улицы тихи,
В своем отчаянье усталом
Давно забытые стихи
Бездомно бродят по кварталам.

Стучатся в двери наугад,
Скрипят по лестницам чердачным,
Где много лет тому назад
Сложил их кто-то неудачно.

И, может быть, в неясном сне
Изольдой, снящейся Тристану,
Придут, прибудные, ко мне —
И вдруг талантливыми станут.

21.06.89

Февраль был похож на март

Февраль был похож на март, он стекал каплями с сосуллек и ударялся в жестяной подоконник григовской «Песней Сольвейг», и только однажды вдруг ударил мороз и утром, выйдя в переулок, я увидела белую чистую страницу снега, пересеченную одинокой ниточкой кошачьих следов, и черного кота, который шел мне навстречу по тротуару, встряхивая заснеженными лапами.

Тогда-то мы с ним и познакомились, возле филармонии. Не с котом, с Аркадием. Прямо как в кино все получилось. У меня был лишний билет, потому что Верочка заболела, и я стояла у входа. Как назло, меломанов, вероятно, отпугнула погода, да и в кассе было полно билетов. Он проходил мимо и, конечно, вовсе даже не собирался на этот концерт, а просто шел себе с работы, с дипломатом. А я смотрю: ну, мужик такой, такой мужик – в дымчатых очках! – и говорю: а вам не нужен лишний билет, могу отдать, если в хорошие руки. И возьму недорого.

Он остановился, посмотрел на меня, оглядел всю – с кисточки башлыка до унтов – и спрашивает: а чего ты такая смешная? А я говорю: я не просто смешная, я еще и рыжая, только этого сейчас не видно, вот если пойдете со мной – увидите. Решайтесь, говорю, а то скоро начало, цены подскочат. Он спрашивает: что за концерт? Фортепианный, отвечаю. Ну и пошли.

Снял он с меня в гардеробе мои шанхайские барсы («лиса пожилая»), опять оглядел и говорит: ой, ну все-таки до чего же ты смешная. Еще и рыжая.

А я предупреждала!

Он спрашивает: у тебя что, подруга заболела? Я говорю: нет, это я так женихов ловлю, специально лишний билет купила. И много, спрашивает, поймала? Да полно, у меня кольца обручальные на обеих руках и даже одно на ноге, только я сейчас не надела, а то еще ограбят на обратном пути.

Чтоб не ограбили, он меня потом проводил – до самой парадной. Я спрашиваю: а вас дома не ждут? Хоть позвонили бы. Ждут, говорит, но не дома. Пускай ждут.

А когда мы уже почти пришли, он меня поцеловал. Вот спасибо нашему дворнику: никогда лед не скалывает вовремя. Я точно бы растянулась, если бы он меня не поймал. (Не дворник, конечно, а Аркадий.) Поймал, прижал – вроде как случайно, – и... потом прошло еще много-много секунд – и он меня поцеловал. В общем, как в кино, я ж говорю.

Потом он посмотрел на меня, словно я с луны свалилась, и спрашивает: послушай, Рыжик, а зовут-то тебя как? Я говорю: Ася. Как у Тургенева? Нет, у Тургенева Анна Николаевна, а я Александра Николаевна. А его звали Аркадий.... Ну, это я уже сказала, чтоб не путаться в местоимениях.

Поднялась я домой, бабушка спрашивает: что ты, Асенька, такая сегодня яркая, будто целовалась с кем? Кто же, говорю, на морозе целуется? Ну, возразила бабушка, это ты не скажи... да и разве это морозы? Вот до революции...

Я к себе, легла на ковер и думаю: найдет – не найдет? Завтра или через неделю? И кто его там – не дома – ждет?

У человека, когда он лежит на полу, сразу меняется восприятие мира. Спокойнее становишься, без закидонов. С космосом общаешься. Или ляжешь на спину, руки под голову, наушники наденешь и – Григ, Мендельсон; Мендельсон, Григ... И сквозь Грига – Аркадий, Аркадий, Аркадий...

Март был холодный, как февраль. В хрустящих синих тенях. Аркадий ждал меня возле консерватории – каждый день.

Однажды я пригласила его на учебный концерт – были какие-то гости, из-за какой-то границы, короче, я играла в черном платье, декольте. Он увидел и – ну, вообще обалдел.

– Знаешь, Рыжик, я тебя только по волосам узнал. Ты была бы шикарной дамой, если бы захотела...

– Может быть, не пробовала, я просто люблю быть смешной. Это моя слабость.

И повела его к себе.

Комната у меня маленькая – одиннадцать метров. И живем мы в ней вообще-то вдвоем – с роялем. Вернее, живет рояль, а я при нем состою. Потому что он занимает значительно больше места, чем я.

Зато ковер во всю комнату – сидеть можно везде, даже под роялем. И сплю я на полу.

Пока я варю кофе, Аркадий разглядывает мой альбом.

– С кем это ты обнимаешься? Лохматый такой.

– А, это Ленечка, Верин брат. Мы на Черном море в прошлом году вместе отдыхали.

– Это что, повод обниматься?

– Это мой друг. Он мне фенечку подарил.

– Хиппарь?

– Угу.

– А ты?

– Не, я нет. Мне некогда. Я вкалываю, как лошадь. Что делать – талант. Хочешь послушать гаммы?

– Нет, спасибо. Я предпочитаю кофе.

О, кофе я варить умею! Кофе – моя вторая слабость. (Первую вы помните.) А еще – кофе с корицей. Кофе с шоколадом. Кофе с ванилью.

Я бросаю в наши чашки по щепотке ванилина. Теперь мы не заснем до утра.

...Мы и так не заснем до утра. Боже мой, до чего же я, кажется, жутко влюбилась!

– Ты останешься? – спросила я.

– Я? А? Да... – он поперхнулся. – А твоя бабушка?

– Что бабушка? Ты хочешь попросить у нее благословения?

Он замялся.

– Да я... Просто... И потом...

– Ты что, не хочешь? Ну, насиловать не стану.

Он покраснел.

– Нет, я... Ты... Ты только погаси свет, ладно?

И потом в темноте долго возился со своей одеждой и стучался о рояль, и, уже подходя, хотел что-то сказать, но я не дала: я прижалась к нему – вся, он задрожал, задохнулся, и я скользнула вниз... и все исчезло.

К утру он заснул, а я лежала и слушала, как мелодично падают капли из плохо закрытого крана на кухне (кап, кап-кап-кап... – песней Сольвейг, ушедшим мартовским февралем) и как за стеной ворочается бабушка. Наверное, она вспоминала своего жениха, офицера, погибшего в 1916 году на германском фронте, фамилию которого она много лет боялась произносить. А может быть, вчерашний скандал в булочной из-за недоданного кассиршей пятака.

А утром Аркадий стоял посреди комнаты в теплых кальсонах, смешно пытаясь натянуть брюки и увернуться от моего взгляда, когда увидел, что я не сплю, и все мямлил:

– Я не думал, что ты... Что вчера так... Боялся... Что смешно... Будешь смеяться...

– «Кальсоны и любовь», трагедия в пяти действиях, – торжественно произнесла я.

Он покраснел до слез и засмеялся вместе со мной.

А кто его тогда не дома ждал, я вскоре узнала. На дне рождения у его приятеля – не то Гоши, не то Кеши – в общем, без пяти минут доктора наук. Сперва все было хорошо: мы придумали подарок – термобигуди (а он лысый, этот Гоша, как коленка, хотя и молодой: это от ума, наверное), Аркадий стишок написал на открытке: «Тебе мы дарим бигуди, Не злоупотребляй, гляди!», купили гвоздики какого-то сизого цвета, и Аркадий все смеялся над моими клетчатыми брюками и котелком и обещал подарить мне тросточку. Всю дорогу мы хохотали, а в подъезде у Гоши (или Кеши) стали целоваться, как сумасшедшие.

Там в гостиной была шикарная качалка, я забралась в нее с ногами и кто-то из перспективных ученых принес мне коньяк и кофе прямо в кресло и спросил, что я думаю о синтезе не помню чего. Я сказала: ничего не думаю, меня из школы выгнали – за неспособность.

Потом я нашла рояль – это был рояль!.. нет, это был Рояль! – Беккер, весь в белом чехле и завален сверху кипами чего-то Sientific. Правда, он оказался слегка расстроенным, но я сыграла «Котенок на клавишах», а потом «Беттину». Аркадий сидел у моего левого бедра на скамеечке для ног и рассматривал какие-то новые книги – понять бы хотя бы названия! – и вот тут вошла она. А с ней Гоша, как кот нашкодивший.

Аркадий возле моего бедра стал жесткий, как замороженная курица. А Гоша подводит ко мне эту дамочку и говорит:

– Знакомьтесь.

Роскошная блондинка – ненавижу таких! – холеная, как породистая лошадь. Какого черта, однако, я должна с ней знакомиться?

Она протянула мне руку, вальяжно, как для поцелуя:

– Дина Валентиновна.

Нет, стразовая моя, я тоже не девочка, подумалось...

– Александра Николаевна. А это мой муж, Аркадий.

– Мы знакомы, – ледяно сказала она и фыркнула куда-то в сторону. Аркадия перекосило, и он, извинившись, рванул на кухню. Кеша, хлопая крыльями, несколько раз дернулся туда-сюда и, наконец, пошел за ним.

– Мы с Аркашей коллеги, – молвила блондинка. – А вы, моя милая, чем занимаетесь?

– В основном любовью, – ответила я, – но сейчас мне некогда. Я должна посетить туалет.

Оставила ее с открытым ртом и вышла. Я не виновата, что кофе с коньяком на меня так действует.

Проходя мимо кухни, услышала, как Аркадий шипит на Гошу:

– Хоть бы ты меня предупредил, я бы...

А Кеша так же шипяще оправдывается:

– Я сам не знал. Я ее не приглашал. Ты же ее знаешь. Не могу не...

Я громко хлопнула дверью туалета.

Когда я вернулась в комнату, Динка-блондинка сидела на подоконнике и курила, молодые ученые читали оду имениннику, а Аркадий – мрачнее тучи – сидел возле рояля и тыкал пальцем в ре-диез.

– Хотите танцевать? – спросила я этих химиков. Страхнула Аркадия, села за рояль и сыграла им чарльстон на тему Грига... понимали бы они юмор! Сплясали, и Геша тоже.

Блондинка на окне презрительно улыбалась. Мне страшно захотелось сделать так, чтобы с нее слетела вся ее холеная красота, чтобы она хоть на минутку стала некрасивой, вылезла бы наружу... Вылить ей кофе на белую юбку что ли? Представляю, как завершит!

Я бросила играть.

– Что же вы? – спросила она, стряхивая пепел на паркет. – Так мило.

Ми-и-ило, растянула это «и», как жвачку, так ми-и-ило. Аркадий заскрипел зубами. Ах, вот оно что! Стыдно, значит.

– Что вам сыграть, мадам? – спросила я. – Вы хотите сплясать?

Блондинка нежно улыбнулась:

– О нет. Развлекать публику – это, скорее, по вашей части.

– Конечно, – ответила я. – Хотите, я станцую? Геша, ставьте бокалы на стол – будет баскский народный танец. Мадам оплатит убытки.

Я рыжая, как Саломея, я буду плясать... но в следующий раз. А сейчас мне пора... у меня свиданье. Чао!

И сделала им ручкой. Химики ржали, блондинка окислилась:

– У Аркаши явно испортился вкус.

Аркадий позеленел и вышел в прихожую. Я за ним.

– Прекрати паясничать, – сказал он.

– Бога ради, – ответила я. – Как тебе будет угодно.

К ней он, конечно, в теплых кальсонах не приходил. Но это уже не мое дело.

В конце концов – с тех пор прошло уже два года. Я сижу на парапете набережной и играю на сопрановой блок-флейте песню Сольвейг, играю, наслаждаясь своим несчастьем. Играю, чтобы рассказать все это тому, кто умеет слушать. С серенького небосвода на землю капает снег. И кто-то добрый кинул мне гривенник, блестящий, как звезда.

Бабушка не может понять. Ее жених погиб в шестнадцатом году на германском фронте, и бабушка вышла замуж за дедушку... он был пролетарий. Потом родилась мама, потом я, а теперь бабушку часто обсчитывают в булочной, потому что она плохо видит, и ей только иногда снится юнкерский бал – в коричневатом, как старые фотоснимки, сне – и музыка, и Елагин, и «я к тебе прибежала на лыжах».

Ок.1990, 2015

Уже кончается зима, ее певучее ненастье.

Ее метели кружевной все чаще путается нить.

Оставь мне снежные дома и это тонкое запястье,

И тишину, и «ты со мной», которого не изменить.

Уже кончается печаль, ее пленительная сладость.

Ее зеленые глаза не властны больше надо мной.

Но крылья где-то за спиной еще несут себе на радость

Певунья счастья стрекоза и ангел с дудочкой смешной.

Май 2002

Вид из окна

Когда я вырасту большим, я женюсь на девчонке, которая ненавидит игру на скрипке. Нет, музыку я люблю. Когда другие играют. Только для скрипки нужен абсолютный слух, а мой учитель сказал маме, что у меня слуха вообще нет. Мама ответила, что за такие деньги можно научить даже глухого, но плату все-таки увеличила, и с тех пор учитель больше ничего не говорит. Зато соседи говорят. Вернее, они тоже не говорят – они кричат. Они кричат: «Если ваш Ираклий такой гениальный, почему он три года играет одну и ту же гамму?!» Мама им отвечает, что Сарасате играл по четырнадцать часов в сутки. Наверное, у него не было соседей, иначе они убили бы его раньше, чем он достиг славы.

А мне соседей жалко. Они все-таки хорошие. Больше всего мне жалко профессора Павлинишвили с третьего этажа, потому что, когда он приходит жаловаться, у него всегда такой вид, как будто он в чем-то виноват. Он приходит, опираясь на палочку, потряхивая седой айболитовской бородкой, вынимает из ушей вату и, запинаясь, говорит: «Да. Музыка – это прекрасно. Возвышенно. Я понимаю, искусство требует жертв. Но нельзя же приносить в жертву целый дом...»

Мама его немножко побаивается, потому что он очень воспитанный. Она поит его чаем, и он уходит, все так же потряхивая бородкой и бормоча: «Ну, конечно, я могу заткнуть уши. Ребенок должен развиваться. Чувство прекрасного, гармоническая личность... В конце концов, за эти три года я все равно стал глуховат. Так что, если заткнуть уши, все не так страшно».

В общем, у нас очень хорошие соседи. Они меня даже любят. Когда я один, без скрипки.

Сейчас я сижу и смотрю в окно. Мама заперла меня в квартире, чтобы я не болтался по двору, как всякие лоботрясы, которым нечего делать, а занимался. Но я все равно не занимаюсь. Поэтому, когда мама придет с работы, все ее будут ласково называть Тамрико, а на меня бросать благодарные взгляды. Приятно доставить людям удовольствие.

Я сижу и смотрю во двор. Дворик у нас маленький и тихий. Он такой маленький, что в нем как раз помещается четыре автомобиля. Тот, кто хочет утром выехать первым, должен накануне вечером приехать последним, иначе утром начинается перепалка на весь двор.

– Нико! – кричит в семь утра дядя Закариа. – Нико, убери своих «Жигулей». Нико!

На крик из окна высовывается встрепанная голова Гиви, соседа Нико по площадке.

– Слушай, дорогой, что спать мешаешь людям? Бери свою машину и уезжай, чужую не трогай.

– Бери, бери... Не могу же я приделать к ней крылья! – возмущается дядя Закариа.

– Мозги себе приделай, – вступает в разговор проснувшийся Нико. – Зачем вчера не заехал последним? Не будил бы тогда людей понапрасну.

– Зачем, зачем! – надрывается дядя Закариа, опаздывающий на работу. – Затем, зачем ты вчера домой приехал в два часа ночи!

– А это уж не твое дело, когда я домой возвращаюсь, – всерьез обижается Нико и исчезает в своем окошке, не оставив дяде Закариа никакой надежды. Зато разбуженные соседи один за другим вступают в беседу, пока, наконец, не просыпается весь дом.

Так вот, двор у нас маленький и тихий. В него выходят окна двух- и трехэтажных домов. Каждый этаж окружен галереей, имеющей свою лестницу. Деревянные ступеньки скрипят, железные – гремят под каблуками и раскаляются на солнце. У каждой лестницы свой голос, я их все научился различать, потому что часто так просто сижу и смотрю во двор.

Вообще-то я живу на первом этаже и мог бы удрать через окно. Но я послушный, это признает даже бабушка, поэтому я сижу дома, хотя мне очень хочется поиграть с детьми нашей соседки Мананы Ясоновны. Двое малышей вот уже целый час возятся в куче цемента, оставшегося после ремонта, а Натэле, конечно, скучно. Она уныло бродит между веревками с суша-

щимся бельем и ковыряет в носу. Натэле уже девять лет, она всего на три года меня младше, и делать ей во дворе совершенно нечего.

– А ты чего сегодня не пилишь на своей скрипке? – спрашивает она, когда наконец меня замечает.

Конечно, на самом-то деле она меня давно заметила, но только почему-то не хотела подать вида.

– Не хочу, – отвечаю я равнодушно, как будто когда-нибудь этого хотел.

Натэла оставляет в покое нос и начинает катать ногой какой-то камешек.

– А мы с папой были в горах. Я на лошади теперь умею ездить, – сообщает она как бы невзначай.

Я смотрю на ее длинные загорелые ноги и стараюсь придать своему лицу равнодушное выражение.

– А я вот на скрипке... – мямлю я неуверенно.

Но врать Натэле мне не хочется, и поэтому я уныло прибавляю:

– ...никак не могу научиться...

Натэла смотрит на меня с таким искренним сочувствием, что мне сразу же хочется чем-нибудь загладить впечатление.

– А у меня есть что-то интересное, – загадочно говорю я.

– Что?

– Полезай ко мне в гости, покажу.

Натэла немножко колеблется.

– А как? – спрашивает она после короткого молчания.

– Что как?

– Ну, как я к тебе влезу?

Ох уж эти девчонки! Вечно ломаются.

– Возьми вон ящик, притащи сюда, встань на него, а я тебе помогу.

Натэла встает на ящик и довольно ловко забирается в комнату, почти без моей помощи.

– Ну, – говорит она, усаживаясь на диван, – чего у тебя? Ерунда, наверное, какая-нибудь.

Я кидаюсь к книжному шкафу, но так радуюсь тому, что Натэла пришла ко мне в гости, что долго никак не могу отодвинуть стекло и достать свою любимую книгу – толстый альбом репродукций «Эрмитаж». Но вот наконец она у меня в руках, и я сажусь рядом с Натэлой на диван. Я сразу же открываю книгу на той странице, где хочу, и даже смеюсь от радости, что все так хорошо получается.

– Вот, – говорю я ей и показываю картину.

– Сур... баран. «Отрочество мадонны», – читает она вслух. – Ну и что?

– Она на тебя похожа, – говорю я.

– На меня?

Натэла смотрит на картину повнимательнее и заключает:

– Она красивая.

– Ты тоже.

У девочки на картине нет таких загнутых кверху проволочных косичек, как у Натэлы, и наверное, у нее не бывает на ногах столько синяков и ссадин, но все равно она чем-то похожа на Натэлу, даже очень.

– А что такое Сурбаран? – спрашивает Натэла.

– Это художник. Это у него такая фамилия.

– А я правда похожа на нее?

– Очень.

Натэла улыбается, и кончики ушей у нее покрываются легким румянцем.

– Ну и что? – спрашивает она и, не дожидаясь ответа, начинает перелистывать альбом.

- Здесь еще много интересных картинок?
- Остальные не такие красивые.

Я люблю рассматривать этот альбом и придумывать разные истории. К каждой картине свою. Если изображена сцена с людьми, я сочиняю целый роман, иногда очень увлекательный, так что сам начинаю волноваться и переживать за героев. Если предметы, я придумываю, кто ими пользуется и зачем. А по портрету я люблю угадывать характер и мысли. И еще я мечтаю когда-нибудь поехать в Ленинград и увидеть все эти картины по-настоящему.

Только пейзажи мне не очень нравятся. Я гораздо больше люблю бегать по горам, чем смотреть, как они нарисованы на картине, но, к сожалению, мне это редко удастся.

Я бы с удовольствием рассказал Натэле свои истории, но она уже откладывает книгу в сторону и идет к окну. Я сразу же вспоминаю, что на диване сидеть нельзя, потому что он покрыт японским покрывалом, и тоже встаю.

- Опять жена Чхеидзе ругает, – говорит Натэла.

Отар Чхеидзе сделал у себя в подвале маленький погребок и держит там вино. И почти каждый день во дворе разыгрывается одна и та же сцена. Жена Отара стоит на галерее третьего этажа и кричит вниз:

– Отар! Отар, иди домой! Есть у тебя совесть или нет у тебя совести? Что ты там делаешь? Отар, ты меня слышишь или ты меня нет?

Отар Чхеидзе ничего не отвечает из подвала. Он прекрасно знает, что его хотят послать в булочную. Наконец разъяренная жена спускается по лестнице, которая под ее шагами грохочет железом на весь двор, и скрывается в подвале. Вид у нее очень воинственный, и когда я сравниваю ее мощную фигуру с худенькой и неказистой фигурой Отара, мне становится боязно. И правда, из подвала сразу же слышится его голос:

- Вот этого не надо... Не надо! Ты нанесла мне телесные побои! Милиция, эй, милиция!

Конечно, никакой милиции поблизости нет. Все стихает, и через пять минут Отар и его жена выходят из подвала под руку. У жены Отара красное лицо и растрепанные волосы, и платье на ней сидит теперь как-то косо, так что непонятно, кто кого бил. Но кажется, что оба они довольны.

Мама говорила папе, что у них там любовь. А я не знаю, что такое любовь.

- Я пойду, а то скоро твоя мама придет.

Натэла залезает на подоконник и спрыгивает вниз.

- А... тебе понравилось? – спрашиваю я. Зря, конечно.

– Да... ничего, – отвечает она, оттаскивая ящик на место и неопределенно пожимая плечами. – А Васико из шестнадцатой купили велосипед. «Орленок». Он меня вечером покатай обещал. Ну, пока!

И Натэла подбегает к малышам, чтобы немного почистить их от цемента до прихода родителей.

А я со вздохом беру скрипку и смычок. Надо, чтобы мама слышала, как я играю. Но проклятые гаммы мне до смерти надоели. Я хочу сыграть что-нибудь такое... настоящее, как та картина в книжке. Ведь вот этот Сарасате, про которого мама говорит, он, наверное, знал, зачем играет по четырнадцать часов в сутки. Я тоже хочу знать, зачем. И потом, у меня что-то так сжимается в груди, что хочется или заплакать, или сочинить что-нибудь, или нарисовать... И я играю. Я играю хорошо, мне нравится. Я сочиняю мелодию, это, оказывается, так легко, она льется сама собой, без принуждения, не то что гаммы, скучные, как табуретка. И все кругом захвачено прекрасной музыкой...

Окно напротив захлопывается с яростным звоном.

- Нет, наверное, у тебя действительно нет слуха, – говорит мама.

Она стоит в дверях, прислонившись к косяку, и у нее очень грустные глаза. С трудом сдерживая вздох, она тихо добавляет:

– Может быть, попробовать итальянский язык?

Ок. 1980, 2017

На небе луна, как лаваш на столе,
Бела, и кругла, и добра.
Смеются и плачут на этой земле
И долго поют во дворах.

Здесь песни бездонны, здесь вздохи легки,
Здесь сердце любовью больно.
В жаровнях огонь золотит шашлыки,
И бродит в подвалах вино.

И кажется мне, что сойдя со двора,
Один и никем не любим,
Нико Пиросмани бродил до утра
По улочкам старым твоим.

1980

А моря нет

...Я выброшен на берег твой.
О. Мандельштам

Максим лежал, как большая раковина на берегу моря, на краю, у воды. Он видел только небо и волны, а когда они отступали – ту линию, где кончаются облака и переходят в море; и волны облаков, и пена моря проходили в него вибрирующим в груди эхом. И он отдавал это – обратно, как песок отдавал тепло солнца.

Ему трудно было встать, чтобы посмотреть вслед женщине, прошедшей мимо него в знойном мареве, но он знал, что ее мерно покачивающиеся бедра струятся кругло, перетекая в смуглые ноги в золотистых сандалиях, и волосы ее шуршат, как облака, и летят, как волны. Она прошла, словно несла на голове сосуд с драгоценным вином, которому «настанет свой черед», и была сама похожа на амфору: женщина-амфора с сердоликами на груди, с тонкими золотыми запястьями на руках, одетая только в море и солнце, в звон браслетов и шум прибоя, в темную солнечную сетку волос.

Ее звали Зоя, что значит – жизнь.

...Ему говорили в детстве, что если приложить раковину к уху, услышишь шум моря. Где-то в глубине ее изгибов скрыта тайна отзыва. Это шумит тот прибой, что слышали гребцы папирусных лодок – четыре тысячи лет назад.

Максим приласкал рукой мокрую лапку волны, скользнувшую по песку возле него.

– Нефер-эт, – шепнул он. – Прекрасная Пришла.

На книжном шкафу в кабинете отца стояла гипсовая головка – копия амарнской скульптуры. Отец называл ее Нефертити. Позже Максим прочел в одной книжке про пирамиды, что это была вовсе не она – Нефер-эт, Прекрасная Пришла, называемая греками Нефертити, – а совсем другая женщина, имени которой не знает никто. Может быть, скульптор любил ее. Впрочем, какое это теперь имеет значение?

Лицо египтянки было не просто прекрасным. Оно было свободным. Осуществленным. Такое запоминается навсегда.

Теперь это лицо вошло в него, выплыло из тумана детской полупамяти, где существовало вместо няниных сказок, «бури мглой», тайны книжного шкафа или домового под веником. Даже гипсовое, лицо светилось, как оникс. Теперь же оно было живым.

Когда это случилось, моросил мелкий дождик. Максим увидел, как она выходила из автобуса в час пик. Увидел и остановился. Он никогда не предполагал, чтобы можно было сделать это *так*. Не выдраться, ловя оборванную пуговицу; не выкарабкаться, с остервенением выдергивая за длинный ремень отставшую сумку; не вылезти, устало отругиваясь назад; а сойти или даже *снизойти*. Как будто не «побыстрее на посадке», не «не держите среднюю дверь», не «встала тут, как корова и ни тпру, ни ме», а карета у парадного подъезда и граф спешит по ступеням крыльца поцеловать руку.

Как ей это удалось, Максим не понял, но он пошел за ней следом, за ее черным плащом, блестящим дождевиками, за темной солнечной прядью из-под капюшона. В сетке у нее были абрикосы. Они озаряли улицу золотым сиянием.

Одни женщины на улице придиричиво осматривают друг друга, скользя пристрастными взглядами снизу вверх, сверху вниз: «При такой заднице надо додуматься полосатую юбку надеть!» Глаза других быстро бегают из стороны в сторону, то и дело цепляясь за что-то нужное: «За чем стоите? Женщина, где абрикосы брали?» Таких большинство. Третьи, ярко кра-

шенные даже днем, зазывно глядят в глаза встречным мужчинам. Четвертые погружены в себя, и возле рта и на лбу над переносицей у них прочерчены суровые морщинки: это учительницы и жены алкоголиков.

У нее же было лицо той древнеегипетской женщины, портрет которой ошибочно считают портретом Нефер-эт, жены Аменхотепа IV, более известного под именем Эхнатона.

– Девушка...

– Да?

Она обернулась медленно и без раздражения. Медленно-медленно. У нее были глаза цвета меда, тенистые, бездонные!..

– Да? – переспросила она, держась за ручку подъездной двери. – Вы, кажется, хотели что-то спросить?

И ни тени иронии в голосе.

Максим с трудом вынырнул взглядом из глубины тысячелетий и взглянул на сетку.

– Да. Знаете, просто ужасно захотелось съесть абрикос. Может, одолжите один? А завтра я вам верну. Честное слово.

Зоя сидела на ковре, прислонившись спиной к тахте, и слушала далекое море в рогатом рапане.

Создав ее, природа и сама удивилась, и не дала ей более ни одного таланта, ибо и этот один – хранить в себе солнце – был избыточен. Волосы ее – темная гиацинтовая волна – казались светлыми, а гордые плечи – дивно покатые – покорными. Глаза – цвета меда, с золотистым ободком. Но главное – эта сладость, и тепло, и запах – запах фрезий (или абрикосов?) и горько-сладкий дурман духов. И золотистый свет сквозь кожу, и мягкость губ, целуя которые погружаешься...

– Как называются твои духи? – спросил Максим.

– «Каир», – ответила она. – А что?

Он промолчал, вдыхая печальный запах.

Зоя отложила в сторону рапан.

– Между прочим, – сказала она, – это твои первые слова, обращенные ко мне, за сегодняшний вечер.

– Неправда. Еще я поздоровался. И еще... чего-то...

– Ну да, конечно. Отвечал «да» или «нет» на мои вопросы.

– Вот видишь. А ты говоришь...

– Ну, прости, пожалуйста.

Легла на ковре, словно на берегу моря. За занавесками сыпал снег крупными хлопьями; по серому шелку скользила его тень. Падая снег. Она лежала, закинув руки за голову, и в ней, как в сосуде, хранился солнечный свет. Лицо, смугло-бледное, тихо сияло, как оникс. Максим задохнулся. Как больно, больно сжалось в груди. А там, давно – ты помнишь? – храм Атона. Сistrы. Звонкие браслеты и сistrы. И та, что ставила силки на птиц. И та, что не устерегла свой виноградник. Солнце воплотилось в винограде, как дух в теле, а виноград – в вине, а вино, пронзая меня, волнует, развязывая путы, сдерживающие страсть...

– Я хочу тебя...

Она сняла бусы и положила их на ковер, рядом. Максим взял их в руки. Они были чуть-чуть теплые сзади, возле застежки, где соприкасались с телом. Сердолики, нагретые солнцем ее тела. Тело... Сосуд. Амфора с драгоценным вином.

– Чего тебе не хватает, Максим? Ну, скажи мне... Отчего ты всегда молчишь? Или читаешь эти мрачные стихи?

*Есть горы в краю моем,
— а моря нет —
пшеничных волн оком,
— а моря нет*

Она отняла бусы и потянулась к нему. Подставила открытые губы, вдохнув с поцелуем его дыхание. И, когда ее язык прикоснулся к его небу, показалось ему, что он умирает.

Господи, какое счастье! Какая мука! Есть ли хоть что-нибудь, что останется после нашей любви? Ничего, ничего, ничего...

*...есть сосен зеленый плеск,
— а моря нет —
текучая синь небес,
— а моря нет —
и ветра хрипая песнь —
— а моря нет.¹*

— Ты... ты плачешь?

Он то погружался в Киммерийские темные воды страсти, то взлетал к вершинам солнечных волн.

Как мало нужно двоим любящим: только пустой берег, да звезды, да плащ ее волос. Слеза дрожит жемчужиной в ложбинке между ее ключицами. И женщина принимает его, как раковина, и погружает в пучину морских вод. Только снег за окнами, да старая тахта, да покрывало ее волос...

Максим никогда не был у моря. Он никогда не видел, как вечерняя волна падает брюс-сельской пеной на золотое блюдо песка. Он знал только, что когда-то давно это было и с ним. Что в темных глубинах, хранящих венецианские бусы и греческие амфоры, скрыта и его тайна. Что в ритмичном глухом цезурированном ропоте волн — начало всей музыки и всей поэзии. Что русалки умирают от любви.

Помнишь, как устав от любви, она ела виноград? Помнишь лиловые ягоды, полные розовым соком, так и не ставшим вином? Отчего же навсегда потеряна не только надежда, но даже мечта? «Ты сразила меня, сестра моя, невеста, сразила одним лишь взором, одной цепочкой на шее». Руки в загаре, все в золотом пушке. Он ловит губами эти тонкие руки. Чего желать еще, если чудо произошло? Если нашел ту, которую выдумал так давно, еще в детстве?

Голые, мокрые в дожде ветки деревьев переплетаются в осеннем небе, как колючая проволока. За окном — глухая кирпичная стена с надписью «Здесь ничего нет».

Он опускался на колени и пробовал молиться. Господи, о чем?

— А хочешь, мы поедem на юг, Максим? К морю? Ты ведь никогда там не был. Ну, хоть бы и в Сочи. Тебе холодно тут, ты болен. Мы поедem на юг, и все пройдет. Правда-правда. Нам ведь хорошо вместе, разве нет? Что с тобой? Да не молчи же!

— Прости меня, Зоя. Видно мне это... не по плечу. Не по силам, понимаешь. Я не могу плыть за буйки. Я разучился, понимаешь, я слишком долго ждал этого. Может быть, много веков. Прости. Мне все равно не удержать тебя. Рано или поздно... Солнце нельзя держать в комнате. А шум в рапане — вовсе не ропот моря, а простая физика, ведь так?

¹ Оскар Серруто. Перевод А. Косс.

– Глупости. Все пройдет. Ты просто устал. Только не гони меня, пожалуйста. Ну поедем на юг!

Но Максим не хотел на море: в страну пляжей, мокрых тел, плотно – лежак к лежаку – покрывающих берег. Не было там страны его снов. Были только буйки, грязные забега-ловки, кричащее разноцветие синтетических купальников, скрывающих тело. Лысый фотограф в белой рубашке-бобочке и с носовым платком, четырьмя узелками завязанным на голове.

Этой страны не было, как не было и не могло быть женщины в сердоликах, идущей по берегу, египетским звоном звеня золотыми запястьями и глядя кудрявые гривы приручен-ных волн загорелой рукой.

Только ночью чувствуешь, как Земля летит в космическом пространстве. В белом домике у Черного моря спят обитатели санатория, никогда не заплывающие за буйки.

Уставшее море отшлепывает ритм мокрой ладонью. Русалки танцуют джаз, соря дра-гоценными камнями, кораллами и медузами. И бедный старик бредет по пляжу, собирая бутылки, в которых прячутся звезды.

Ок.1976, 2017.

В переулках вертит время ветер,
В серый мир квартирной воркотни
Входит март отчаянно, как Вертер,
Приподняв от ветра воротник.

Комната – глухая и немая.
Из-под рук оконного креста,
Ничего про нас не понимая,
Смотрит строго с неба пустота.

Как из ран, из кухонного крана
Капают минуты тяжело.
Может поздно. Может – слишком рано.
В общем, все равно – не повезло.

Все равно не удержать надежды,
Канувшей в весенний неуют.
Ангелы – небесные невежды —
С голубями крошек не клюют.

2002

Портрет художника в зрелости

Мокрое и серое, как половая тряпка, утро медленно вползало в комнату. Дождь, начавшийся еще ночью, к утру усилился, и блеклые струи его мерно и скучно колотили о жестяной подоконник.

Андрей высунул руку из-под одеяла и, схватив пронзительно звенящий будильник, быстро спрятал ее обратно. Будильник еще что-то буркнул и обиженно затих.

В комнате было холодно, потому что осень нынче наступила рано, отопление не работало, а заклеить окна Андрей никак не мог собраться. Коварный будильник все же отомстил, коснувшись его ноги своим ледяным металлическим боком. Андрей чертыхнулся и, рискнув еще раз приоткрыть одеяло, выпроводил его на место.

Когда он проснулся во второй раз, было уже девять часов. Дождь поредел, помельчал, но от этого стал только еще противнее.

«Девять часов. Я же вчера лег в двенадцать. Девять часов. Какой разврат! Это все дождь виноват, – думал Андрей сердито. – Да, все из-за проклятого дождя. И вчера было то же. И голова болела. И сейчас болит. И будет болеть».

Он полежал еще немного, в раздумьях о том, что надо вставать. Вставать – это значит вылезать из-под теплого одеяла, зябнуть, потом готовить завтрак и опять что-то есть... Опять овсянка, яйцо всмятку, бутерброд с сыром. Кстати, сыр у него, кажется, кончился еще вчера.

Андрей блуждающим взглядом обвел свое жилище, словно ища в нем какой-нибудь предлог, чтобы не вставать.

Свою большую комнату в коммунальной квартире Андрей условно делил на зоны. Сейчас он находился в спальне, состоящей из широкой кровати, бабушкиного туалетного столика, потерявшего за свою долгую жизнь одну из ножек, и старого платяного шкафа с зеркалом во всю створку, угрюмо стоящего в самом темном углу. В зеркале тускло мерцали мягкий зеленый диван и покрытый потертой плюшевой скатертью обеденный стол, которые вместе с любимым бабушкиным креслом и хлипкой этажеркой, уставленной множеством мелких предметов неизвестного назначения, составляли обстановку его гостиной. В самой светлой части комнаты – между двух окон – Андрей устроил мастерскую. Композиционным центром ее был мольберт, задрапированный женским халатом.

Старая мебель, картины в тяжелых рамах с облезающей позолотой – все это казалось Андрею обломками кораблекрушения. Для бабушки это был привычный, устойчивый мир, это была ее крепость, надежная, как темный дубовый шкаф, помнящий ее еще девочкой. Устойчивые вещи, казалось, делали устойчивой и саму жизнь. И Андрей, пока бабушка была жива, чувствовал себя среди них своим, и комната эта была и его крепостью. Ему казалось, что это вещи делают ее такой. И неторопливое течение жизни не могло бы быть другим среди этих вещей. Но вот бабушки не стало, он остался один – и стены рухнули. Эти островки материи: шкаф, кресло, диван – перестали быть его защитой и опорой. Он чувствовал себя человеком, выброшенным на необитаемый остров и пытавшимся из обломков разбитого корабля построить себе прочное жилище. А позолота сползала с рам...

Андрей взглянул вверх и заметил паутину в углу под потолком. «Надо заняться делом, – подумал он. – И прежде всего встать». Глубоко вдохнув, он выпрыгнул из постели и запрыгал по комнате в трусах с надписью «Москва-80» и в одной тапке, напевая «Мне не холодно совсем, мне не холодно совсем» и стараясь отыскать вторую. Наконец он извлек ее из-под кровати, всю в пыли.

В половину десятого Андрей, совсем одетый и в обеих тапках, выполз на коммунальную кухню. На всякий случай он заглянул в холодильник, но тщетно. Сыр со вчерашнего дня не появился. Андрей вздохнул и поставил вариться яйцо.

В этот момент в кухню вошла Эвелина Альбертовна, очень седая, очень накрахмаленная и кружевная старушка.

– Доброе утро, Эвелина Альбертовна, – сказал Андрей. – У вас не найдется кусочка сыра в долг? До завтра.

Эвелина Альбертовна знала Андрея с тех пор, как он пошел в первый класс, и поэтому ничему не удивлялась.

– Сыр есть, Андрюша. Швейцарский. Это, конечно, не «Грюйель», сами понимаете... Но сойдет, не правда ли?

– Д-да, конечно, не Грю... но сойдет. А если я у вас два кусочка возьму?

– Тогда, наверное, придется звать на помощь милицию.

Позавтракав, Андрей скинул с мольберта халат и стал внимательно изучать полотно. По воскресеньям он писал автопортрет. Теперь он долго смотрел на неоконченную работу и никак не мог взяться за кисточку.

Андрей уже выучил свое лицо наизусть и все-таки был недоволен тем, что получалось на холсте. Он смотрел и смотрел на свой вдохновенный взор, сурово сжатые губы, романтически разбросанные волосы, на экспрессивный мазок и глубокий колорит – и ему стало тошно.

Андрей закрыл холст и отошел к окну. Дождь все шел и шел. Казалось, он льется прямо в душу, как за воротник, и холодит все внутри. Ему не хотелось ничего делать, не хотелось шевелиться. Он стукнул рукой по подоконнику и поморщился от боли. Назло! И, сам того не ожидая, вышел в прихожую, надел плащ, натянул ботинки и через несколько минут был уже на улице.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.